

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Павла Викторовича Алексеева

«Восток и восточный текст русской литературы первой половины XIX века:

концептосфера русского ориентализма»,

представленную на соискание ученой степени доктора филологических наук.

Специальность 10.01.01 – русская литература

Едва ли есть смысл специально пояснять, насколько современной отечественной науке нужны квалифицированные, компетентные исследования в области ориенталистики. Очевидно, что Восток просто как «тема» – сколь бы эффектными по своим конкретным результатам ни были работы о поэтике восточных образов и мотивов – это уже прошлое литературоведения. На передний план выходят задачи понимания художественной словесности как культурной институции, вовлеченной в процессы создания идентичностей, применяемой как сложный агрегат геокультурного и антропологического образотворчества, тесно связанной с политическими дискурсами как в рамках национальных сообществ, так и более дробных социальных групп. Причем это расширение спектра задач не влечет за собой ни уничтожения традиционных целей литературоведения, ни его инструментальных подходов – речь идет прежде всего об увеличении числа «пограничных зон» науки о литературе, обогащении набора ее функций в динамично изменяющемся гуманитарном пространстве.

В этом отношении **актуальность** диссертации П.В. Алексеева не вызывает сомнений: по своему методу, материалу, специфике наблюдений работа прочно вписана в современный интеллектуальный контекст. Ее автор смело ставит острые вопросы геокультурного развития русской литературы, поиска ею ориентальных образных моделей, жанровых традиций, обращаемых на «внутренний» и «внешний» Восток, разработки знаковых жизнестроительных сценариев, в которых различные локальности ориентального мира сыграли заметную роль. Новый исследовательский ракурс обусловил и **новизну** конкретных решений. Вряд ли будет преувеличением, если сказать, что многие из предложенных соискателем аналитических сюжетов, специальных экскурсов, прочтений известных произведений можно назвать по-настоящему прорывными. К числу таковых я мог бы отнести реконструкции мусульманских подтекстов в поэтическом наследии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, Фета и др., развивающие и углубляющие находки, представленные еще в предыдущей диссертации исследователя; важные и ценные соображения о восточном путешествии, в которых конкретизируется поэтика и место этой разновидности травелога в системе литературных жанров эпохи; яркий очерк рецептивной судьбы «Хожения за три моря» Афанасия Никитина в сло-

весности середины XIX в. В принципе, этот перечень можно без труда продолжить: почти в каждом параграфе читателя ждет то или иное маленькое открытие, та или иная эффектная реинтерпретация известных текстов, яркое сопоставление, неожиданное пронизательное наблюдение.

Формируя теоретический фундамент работы, П.В. Алексеев учитывает не только ставшие уже классическими построения Эдварда Саида, автора знаменитой книги «Ориентализм», но и опыты критического переосмысления саидианского наследия – в частности, известную полемику Адиба Халида с Натаниэлем Найтом. Отрадно, что соискатель привлек эту дискуссию, в которой автоматически воспринимающаяся после Саида связка *власть* – *знание*, самим Саидом почерпнутая из работ М. Фуко, на русском материале проблематизируется. Действительно в русских реалиях нередко бывало так, что европеизированный субъект изучения Востока вовсе не трактовал свое отношение к нему как имперское доминирование, а производимые им *знания* отнюдь не всегда интересовали *власть*, нередко стремившуюся изобретать и использовать Восток асимметрично относительно тех правил, которые описал Саид. Напомню здесь хрестоматийные строки из романа «Анна Каренина», герой которого Алексей Александрович Каренин ведет дело инородцев Зарайской губернии (на самом деле – башкир Поволжья) таким образом, что из созданного вороха бумаг так и не становится понятным, «действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают». П.В. Алексеев, конечно, прав, когда акцентирует ключевое для русского ориентализма значение эпохи первой половины XIX столетия – времени, в котором сформировалась парадигма отечественного востоковедения, но при этом работа открывает отчетливую перспективу к вершинным текстам традиции, в которых саидианская догма подвергнута осмысленному развенчанию: речь, в частности, идет о только что упомянутом Толстом и его экспериментах, прямо торпедирующих традиционный ориентализм, как, например, рассказ «Кавказский пленник». В этом смысле хотелось бы, чтобы перспектива работы, которую обычно описывают в «Заключении», была бы несколько более четко осознана диссертантом, оттолкнувшимся от показательной дискуссии Халида и Найта.

Одно из первых ярких наблюдений соискателя – выявление внутренней связи между образами Кирджали и Дубровского как персонажей, противостоящих тирании восточного образца. Пушкинские ориентальные шифры сопоставлены в третьем разделе первой главы с историософскими подтекстами стихотворений Тютчева, невольно разошедшегося с Пушкиным в понимании природы имперского, его политических задач, а значит и символики в художественном тексте. Здесь в паре Тютчев – Пушкин первый предстает провозвестником имперского нарратива, а второй – национального.

Любопытны и весьма доказательны наблюдения П.В. Алексеева об опыте усвоения не только мотивно-тематических субстратов, связанных с исламом, но самих приемов восточ-

ной поэтики – речь в диссертации, в частности, идет об адаптации Дмитрием Ознобишиным некоторых черт персидской поэзии к технике русского стихосложения. Данный раздел весьма важен, т.к. он показывает, повторю, не только внешне-тематический, но глубокий, простирающийся до конструктивных нюансов персидской поэзии интерес к восточному искусству. Диссертант удачно конкретизирует и место переводной газели Хафиза в определенной рецептивной «нише» русского поэтического мира – в данном случае в качестве таковой предстает анакреонтическая ода.

Интересен имагологический очерк, следующий за экскурсом об Ознобишине: здесь внимание соискателя сосредоточено на халифе Ал-Мамуне, который стал персонажем одной из лекций Гоголя-историка. Варьируя традиционную еще для XVIII века тему правителя-тирана, Гоголь по-своему отвечает на этот политический вопрос, создавая сюжет во многом созвучный «Выбранным местам из переписки с друзьями». Трактовка Востока совпадает у Гоголя с ориентализацией русского мужика, но к исторической катастрофе приводит чрезмерная увлеченность именно рациональным знанием. Консервативная программа Гоголя, раскрывающаяся, в частности, с привлечением восточного культурно-исторического «словаря», была, как показывает диссертант, одним из слагаемых конфликта с Белинским.

От главы о Гоголе П.В. Алексеев протягивает нить своих рассуждений к одному из продуктивных топосов русской поэзии – рефлексии о деспотической власти и поэте-пророке. Именно эта грань замысла исследователя раскрывается перед читателем в параграфах, посвященных «Подражаниям Корану» и «Пророку» Пушкина. Ожидаемый характер этой межтекстовой связи подкрепляется обилием приводимой диссертантом источниковедческой литературы, что с одной стороны, говорит о несомненной профессиональной эрудиции, а с другой – несколько заостряет вопрос о новизне наблюдений. Новацией соискателя является здесь развитие мысли ряда пушкинистов о знакомстве Пушкина с французским переводом Корана, выполненным Клодом Этьеном Савари. Впрочем, несколько ранее неожиданным ходом в сторону мне показалось привлечение к пушкинскому контексту стихотворений Александра Ротчева, за кратким упоминанием о котором раздел 2.1. быстро сворачивается к финалу. Кроме того, несколько натянуто, как мне кажется, выглядит соображение литературоведа о «скрытом мотиве пещеры», нужном автору для подкрепления связи пушкинского текста с Савари и Кораном. Прочитав П.В. Алексеева: «В стихотворении “Талисман” (1827) нет упоминания о пещере, но через концепт талисмана, очевидно связанного с мусульманским контекстом, можно говорить о скрытом мотиве пещеры...» (С. 204). Вполне вероятно, что интуитивно, как знаток материала, П.В. Алексеев и прав, но мне кажется, что эпизод смотрелся бы выигрышнее, если бы диссертант оговорил гипотетичность своих построений.

Наконец, подытоживая впечатления от этого раздела, отмечу также, что по мере углубления в содержание диссертации невольно (не исключая, что и по недосмотру) теряешь связь с открывавшим работу блоком теории, основанной на книге Саида. Ведь Пушкин, получается, использует Коран в *своих* художественных целях, формирует с его помощью *свои* художественно-философские иносказания, полагает Коран в многослойный свод использованных творческой памятью и *равноправно* соединенных источников – не теряют ли в таком случае объяснительной силы новейшие теории «изобретения» Востока как особой целостности, относительно которой конституируется идентичность автора-европейца?

Увенчивают вторую главу диссертации два параграфа, посвященных М.Ю. Лермонтову. Не оспаривая в целом точных и интересных наблюдений П.В. Алексеева, сосредоточенных в этом «лермонтовском» эпизоде его работы, не могу вместе с тем не отметить нескольких натяжек в трактовках и в аналитическом языке, которые мне здесь встретились. Так, безотносительно к конкретным наблюдениям фраза соискателя, гласящая, что «русский человек на Кавказе, открытый новой культурной информации, у Лермонтова перестает быть собственно русским...» (С. 247), страдает излишней категоричностью. Это же относится и к заявлению о Максиме Максимыче, который, по мнению П.В. Алексеева, выглядит «как типичный европейский колонизатор, который абсолютно убежден в своем цивилизационном превосходстве над дикарями...» (С. 248). Перед нами пример смешивания объектов, принадлежащих разным системным уровням. Ксенофобские выпады Максима Максимыча против горцев, которые цитирует ниже соискатель, типичны именно для демократического сознания – в высшей степени далекого от имперских программ. Подобные образы можно встретить в массе текстов – начиная от хрестоматийных инвектив полян в адрес древлян, живших «звериным обычаем», «по-скотски», о чем мы читаем еще в Повести временных лет. Не говоря уже о том, что учитывая многие работы (например, того же Андреаса Каппелера), неправомерно отождествлять русские имперские практики только лишь с ксенофобским нарративом, что способно привести к сильному упрощению проблемы. Примером терминологического диссонанса, наводящим на мысли о методологическом эклектизме, является фраза «известно, что Лермонтов симпатизировал горцам в деле их национально-освободительного движения...» (С. 257). Уже отмеченная мною известная категоричность высказываний здесь вновь дала о себе знать. Вероятно, Лермонтов действительно симпатизировал людям, оказавшимся против своей воли в сложной исторической и психологической ситуации, но едва ли он в политическом смысле солидаризировался со стороной, выступавшей в Кавказской войне против России. Не говоря уже о том, что само понятие «национально-освободительное движение» – это давно дискредитировавший себя советский идеологический штамп.

Вообще, в отличие от предыдущих глав, подкрепленных П.В. Алексеевым мощным источниковедческим ресурсом, «лермонтовским» разделам, на мой взгляд, не хватает опоры на

научную традицию. Например, странно, что из поля зрения соискателя выпала широко известная коллективная монография «Северный Кавказ в составе Российской империи» (М., 2007), в которой есть специальные параграфы, посвященные ориенталистскому дискурсу, приуроченному к Кавказу. Во вдумчивой оценке здесь нуждалась бы и хорошо знакомая автору книга Сьюзен Лейтон «Русская литература и империя. Завоевание Кавказа от Пушкина до Толстого», изданная еще в 1994 г. и содержащая специальную главу о Лермонтове (С. 133-155). Однако на «лермонтовских» страницах диссертации она не упоминается.

Существенно более основательно выглядит заключительная третья часть работы, посвященная восточным травелогам русской литературы первой половины XIX века. Исследователем здесь систематизирован и проанализирован огромный блок материала, включающий в себя наиболее знаковые тексты традиции, но представленный на обширном фоне до мельчайших деталей знакомых соискателю историко-политического, военного, публицистического, бытового контекстов. Вероятно, не случайно, что именно в этой главе на С. 334-336 встречаем теоретический пассаж – весьма яркий и востребованный в данном аналитическом поле. Предложив читателю примеры подробного разбора символики Пальмиры и Сирии в главе о Сенковском, автор в итоге реконструирует обширную и в высшей степени интересную картину русского политического и культурного увлечения Ближним Востоком. Далее соискателем всесторонне показана интертекстуальная палитра воображаемого путешествия Вельтмана. Весьма результативны сравнения пушкинского «Путешествия в Арзрум» со стихотворением «Стамбул гяуры нынче славят». Однако едва ли можно согласиться с выводом П.В. Алексеева, касающимся известного парадокса пушкинского текста: стремиться за границы России и в конечном счете остаться внутри их контура. Диссертант полагает, что причиной тому – неразличимость рубежей между двумя воюющими империями, ориентализация самой России в рамках дискурсивного соединения ее с Востоком. «Границы между Россией и Турцией, – как пишет соискатель, – оказываются размыты не в географическом отношении, а в концептуальном...» (С. 354). Думается, что для такого вывода следовало бы критически переосмыслить очень многое в пушкинском наследии – от европоцентризма поэмы «Кавказский пленник» до письма к Чаадаеву. На мой взгляд, приведенные в диссертации аргументы в чем-то дополняют, но не опровергают известной традиционной трактовки: Пушкин стремится вовне, но скорость его движения уступает скорости расширения завоеванного империей пространства.

Работа оканчивается разделом о восприятии в середине XIX в. одного из начальных текстов русского ориентализма – «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Центральным моментом в концепции П.В. Алексеева является справедливая убежденность диссертанта в сильном теологическом оснащении «Хождения» и его значительном исламском подтексте. К ядру этой концепции у меня нет ни вопросов, ни замечаний, однако необходимость в неко-

торых ремарках вызывается способом подачи и интерпретации привлеченного материала. Так, полемизируя на С. 363 с Б.А. Успенским, П.В. Алексеев отмечает:

По нашему мнению, провозглашение Никитиным идеи таухида в картине мира Афанасия Никитина решительно опровергает представление Успенского об «антихождении». Наименование Бога на четырех языках утверждает наличие четырех путей к одной цели, каждый из которых может быть, в зависимости от контекста, в равной степени истинным, поскольку «а расть де ни худо допот – а правую вьру богъ выдает. А права вьра бога единого знати, и имя его призывати на всяком мьсте чисте чисто». Наречие образа действия «чисто» достаточно четко связано с идеей таухида как «чистого монотеизма».

Приведенный пассаж, очевидно ценный для исследователя в концептуальном смысле, нуждается в пояснениях. Дело в том, что в цитируемом источнике – академическом издании «Хожения» Афанасия под ред. Я.С. Лурье и Л.С. Семенова, на стр. 29 (на нее ссылается П.В. Алексеев) встречаем иное чтение: «А праваа вера бога единого знати, имя его призывати на всяком месте чисте чисту». Форма «чисто» употреблена не здесь, а в летописной редакции «Хожения» на С. 15. Стало быть, грамматическое строение эпизода как минимум двупланово, на что косвенно указывает и диссертант, цитируя одно чтение, а ссылаясь ошибочно на другое. Не оспаривая концепцию данного раздела, замечу лишь, что умолчаний в таких ситуациях быть не должно, и тексты должны привлекаться во всем объеме доступных нам вариантов. Не вторгаясь в спор автора работы с Б.А. Успенским, напомним, что этот ученый указывает на особенность иноязычных молитв Афанасия: «...Знаменательно, что взывая к Господу, он обращается, как правило, к Богу-Отцу...» (Успенский Б.А. Избр. тр.: в 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 399). И далее это исходное наблюдение подробно разворачивается. Значит, по этой логике Афанасий строго придерживается монотеизма. Кроме того, Б.А. Успенский приводит и обширную сводку цитат из Афанасия, в которых автор хождения определенно идентифицирует себя как христианин (Там же. С. 424, 426. Примеч. 69, 72) – о них П.В. Алексеев ничего не пишет. Но как бы то ни было, даже если не обращать на это внимание и локализовать дискуссию вокруг тезиса об укорененности Никитина в лоне монотеизма (факте, судя по всему, самоочевидном), тогда в чем приращение к соображениям Б.А. Успенского со стороны диссертанта, утверждающего то же самое, но – в полемике с лингвистом-семиотиком? Что же это как не тот же самый, говоря словами П.В. Алексеева, «чистый монотеизм»? Отмечу здесь снова и излишнюю категоричность вывода: «Потеря русской идентичности переживается Никитиным чрезвычайно болезненно» (С. 364). Болезненность переживаний – сама по себе знак не утраченной, а подвергнутой драматическим испытаниям идентичности. Не может быть и речи о потере идентичности автором, фабула текста которого основана на идее возвращения в родные места. Также несправедливо, на мой взгляд, выражать предпочтение лишь одного из построений исследователей (всегда в таких случаях гипотетических): нуждается в коррекции определенно заинтересованная интонация диссер-

танта, который именует, например, мнение Успенского «гипотезой» (С. 362), а точку зрения Гейл Ленхофф – «доказательством» («...Ленхофф *доказывает*, что Никитин принял ислам...» [С. 364]). Других замечаний к рецензируемой диссертации у меня нет.

Резюмируя, вновь подчеркну, что работа П.В. Алексеева является современным и без всякого преувеличения новаторским научным трудом. Его автор, по существу, открыл фундаментально значимое направление в рамках отечественного литературоведения. Суммировав сотни отдельных замечаний, наблюдений, эпизодических работ, спроецировав накопленные знания на новую, во многом самостоятельно сформированную теоретическую базу, соискатель сумел вывести своей работой отечественную литературоведческую ориенталистику на новые рубежи. Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Восток и восточный текст русской литературы первой половины XIX века: концептосфера русского ориентализма» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, связанной с определением поэтических, имагологических, житнетворческих, мотивно-жанровых, источниковедческих параметров восточного текста русской литературы первой половины XIX в., способностью отечественной словесности усваивать эстетические и богословские аспекты исламской культуры, диалогически откликаться на нее в ходе создания русской национальной картины мира. Данная задача является приоритетной для развития современного отечественного литературоведения. Работа соответствует требованиям, изложенным в действующем «Положении о присуждении ученых степеней», а ее автор, Павел Викторович Алексеев, заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература.

15 февраля 2016 г.

Анисимов Кирилл Владиславович,

доктор филологических наук, 10.01.01, доцент

профессор кафедры русского языка

литературы и речевой коммуникации

Института филологии и языков

коммуникации Федерального

государственного автономного

образовательного учреждения высшего

образования «Сибирский федеральный

университет», 660041, г. Красноярск,

проспект Свободный, 79/10, <http://www.sfu-kras.ru> (391) 244-86-25

(391) 223-07-27, kianisimov2009@yandex.ru



Алексеев

ФГАОУ ВО СФУ

Алексеев заверяю

начальник общего отдела

« 15 » 02 20 16